

## **Григорий Померанц**

### **Огонь Паскаля**

Огонь! Огонь! Огонь без края,  
Огонь, не знающий конца.  
Огонь, который, разгораясь,  
Творит солнца.  
Огонь, который жжет и рушит  
Все стены на пути своем, –  
Но вовсе не сжигает душу,  
А делает ее Огнем.

З.М. (Зинаида Миркина)

Когда проходят несколько десятков лет, прошлое, казавшееся законченным, смотрится по-новому. Великое открытие рассыпается в прах, а незамеченная деталь вдруг вырастает и раскрывается. Так было с плодами медитации, которой я упорно занимался весной 1938 года. Мне уже приходилось писать, что тогда я решился преодолеть ничтожество человека перед бездной космоса

и чего-то добился; в ярком свете озарения я увидел сразу две модели вселенной с человеком в центре. В обоих случаях человек переставал быть ничтожной песчинкой и становился узлом, в котором связан весь мир.

Несколько смущало меня, что узлов оказалось два. Но разбирать, почему это так, не хотелось. Прошло много лет, пока я понял, что озарение озаряет только то, что уже складывается в уме. А в уме складывается то, что ему по силам, что как-то соответствует его кругозору. И яркое озарение бушмена будет бушменским, кроманьонца – кроманьонским, а Моисея – ветхозаветным... И все эти озарения – метафоры, и одновременное рождение двойни показывает, что близнецы одинаково условны, остаются на поверхности бытия. В лучшем случае это туманные намеки на глубины, а в худшем – просто нелепость (так это и было в 1938 г., и по заслугам отвергнуто моими друзьями).

Однако память озарения пригодилась мне на фронте. Об этом тоже было говорено. Ошеломленный грохотом бомбежки, я не мог справиться со страхом. И вдруг, по ассоциации этого страха со страхом бесконечного пространства и времени выплыло чувство внутреннего огня, внутреннего света, испытанное в марте 1938 г.; и фронтовой страх стремительно растаял, настолько, что хватило до конца войны. Тень страха, коснувшись сердца, тут же исчезала, как страх чумы в гимне Пушкина:

Есть упоение в бою

И бездны мрачной на краю...<sup>1</sup>

Можно было бы вспомнить и замечательный стих Державина, давший барочный образ человека через ряд оксюморонов: «Я раб, я царь, я червь, я Бог». Но Державина я в студенческие годы почти пропустил. Между тем, на волне поэтического ритма он дал слову Бог полноту реальности –

---

<sup>1</sup> Подробнее в «Записках гадкого утенка».

не меньшей, чем реальность царя; Бог здесь реальность одного из полюсов человечности. И вопреки атеистической выучке человек приобщался к реальности бесконечного духа.

Эта реальность не доказывалась. Она захватывала волшебной силой поэзии, силой, подхватывавшей на своих волнах и раба, и царя, и червя, и Бога; захватывала силой культуры, неполной без шестого чувства. И это не догмат, выученный наизусть, это опыт, мгновенный опыт благодати, мгновенный ответ на пропасть, раскрытую перед взором человека, когда Коперник и Галилей разрушили небесный свод и Земля повисла в пустоте.

Впервые заболел звездной тоской Паскаль. Тютчев сослался на его слова о мыслящем тростнике, Толстой говорил, что Тютчев для него важнее Пушкина. Почему вселенская тоска Паскаля не нашла последователей у себя на родине? Почему запомнился только исходный шаг его мысли, афоризм, вошедший

в минимум западной культуры: «человек слаб, как тростник; порыв ветра может сломить его; но этот тростник мыслит, и если вся вселенная обрушится на него, она не отымет этого преимущества»...

Для рационалистической культуры Франции XVII в. Преимущество мысли уравнивало физическое ничтожество человека, но в России XIX в., заваленной материалистическими брошюрами, на первое место выступило именно ничтожество человека перед массой материи, перед математически бесспорным уравнением  $n : \infty = 0$ . Отравленный этим равенством, Толстой прятал от себя веревку, чтобы не повеситься, и ружье, чтобы не застрелиться. Его «Арзамасский страх» – не изящная словесность. Это опыт.

Меня поразило, что читатели «Анны Карениной» и «Записок сумасшедшего» Льва Толстого не попытались прорваться сквозь

бездну к нераздельности человеческой глубины и вечных глубин.

Паскаль достиг этого. В одну из ночей он испытал вспышку внутреннего огня, в которой внешняя бесконечность сгорала и сгорало всякое превосходство материи над человеческим духом. Этот свой опыт он записал и листок зашил в подкладку камзола: «огонь... Бог Авраама, Исаака и Якова, не философов и ученых...» Что означало здесь слова «огонь»? Судя по моему опыту – чувство внутреннего горения, внутреннего света. В одном случае свет как бы погасил предметы, ничего не было кроме света. В других случаях он освещал какие-то слова. Как было у Паскаля, я не знаю, но думаю, что образов праотцев сперва у него не было, скорее, возникла ассоциация опыта с опытом, а не с размышлением философов и ученых.

Почему Паскаль зашил, засекретил свою записку? Почему ночной опыт его не стал широко известен? Почему он не дошел до

Тютчева и Толстого? Скорее всего, Паскаль чувствовал, что современники не в силах понять его. В какой мере этот разрыв в понимании сохранялся и позже, век за веком?

Сегодня меня не обвинят в ереси или в безумии, – но не в этом дело. Опыт нового времени показал, что взгляд в бездну вселенной остался достоянием немногих, для большинства он до сих пор табу. Некоторый сдвиг обозначился только в XX веке. Тогда многие физики заговорили об упанишадах (в частности Шредингер в его книге «Что такое жизнь с точки зрения физики», вызвавший скандал в Москве 1947 г. Потом я узнал, что Шредингер не одиночка). Только в годы моей жизни взрывной рост информации бросил Запад и Восток в один котел, где они сталкивались, постепенно постигая глубокое сходство в словах Христа «Царствие Божие внутри нас» и в словах Шанкары-ачарьи «Атман и Брахман едины».

Сегодня закружились новые ассоциации, вышедшие за рамки обособленных культурных кругов и обособленных сфер знания. В американских книгах, изданных миллионными тиражами, бросаются в глаза продуманные ссылки на византийские и дзэнские тексты. Из этих веточек плетется венок глобальной духовной культуры, век которой придет, быть может, скоро – если еще скорее не рухнет вся наша постройка научных связей. Исповедники разных традиций, сложившихся тысячи лет тому назад, сходятся сегодня за одним столом и понимают друг друга, как психолог Кен Уилбер понимает тибетских гуру, а Далай Лама – своих собеседников – бенедиктинцев.

Духовные глубины ищет сегодня не только востоковед или богослов, но и кинорежиссер. Например, в «Андрее Рублеве», «Солярисе», «Сталкере» импровизированные скважины в глубину («Солярис», «Сталкер») смотрятся рядом с Троицей и зрители втягиваются в неожиданные поиски – и находят общее в



глазах рублевских ликов и в тайнах «Сталкера» и «Соляриса».

Мы не знаем, как на самом деле выглядят глубины глубин, но мы можем жить открытыми ей и в этой открытости искать источник силы, противостоящей всем внешним, поверхностным силам, ничтожным, сравнительно с огнем, мерцающим в глубине, и иногда вспыхивающим внезапным пожаром. Образом, рожденным в этом огне, могут быть и Бог Моисея, и Брахман, и Дао, и опыт созерцания недвойственности и взрывы гения в старой живописи и современной музыке, – словом, любой глубоко пережитый символ. В «Солярисе» Андрея Тарковского глубина просвечивает сквозь научную фантастику. Но меня захватила и отвлекла от фантастики другая ассоциация: мой сон, увиденный лет тридцать или сорок тому назад.

Я плыл сквозь озеро золотого света. Другого берега не было видно, так что это было скорее море, но почему-то я назвал его

озером и так это осталось в моей памяти. Я знал, что до другого берега мне не доплыть, что я утону, но почему-то мысль об исчезновении в золотом свете переливалась во мне ликованием, собственно, это все, что я мог назвать словами, когда проснулся, но готовность погрузиться в золотой свет я помню до сих пор и до сих пор не могу ни вполне понять, ни забыть его. Этот сон постепенно сблизился с образами Тарковского, отодвинул назад все лишнее и оставил только берег, изрезанный фиордами, напоминающими те, над которыми я летел в Тромсе, приглашенный читать лекцию о Достоевском. Фиорды постепенно стали для меня образами личности, открытой в бесконечность. В своем устье фиорд-личность сливается с непостижимым и бескрайним, но остается резко очерченной в своих берегах. По крайней мере, так преобразилась в моем уже «сильно развитая личность», описанная когда-то Достоевским.

Эта метафора осталась для меня символом постоянного усилия быть открытым вечности, не давать никаким заботам закрыть духовное устье, быть открытым всем небесам всех вер.

Образ берега вечности, в которую открылся мой фиорд, стал для меня чем-то вроде внутренней иконы. Я постоянно ее вспоминаю и оберегаю устье от мусора, от обломков временных сооружений, принесенных волнами. Но океан бурлит, и обломков все больше; иные хочется поместить в музей и сохранить, другие распадаются в труху. И образ цивилизации, в которую уходят берега фиордов, все больше рушится. В XIX в. Европа казалась почти законченной, почти уравновешенной, подобной венку, в котором одна ветвь ограничивает другую, но не угнетает ее так, чтобы помешать рождению цветов. И все континенты, казалось, плыли вслед за Европой, тянулись к ее совершенству. Эта иллюзия рухнула в 1914

году, и перенос центра силы из Лондона в Нью-Йорк не изменил сути дела.

Условие гармонии – сдержанность, отсутствие головокружительных темпов, с которыми ветвь, теряя гибкость, становится бревном и всех расталкивает. Нет злокачественного развития общественных форм и движений, одержимых волей к власти. Нет превращения научно-технического и экономического прогресса в разрушение биосферы. Тысячелетние традиции не брошены временем в один котел и не громоздятся друг на друга. Соглашения достигаются дистиллированным языком дипломата, но в сердцах растет вражда, как между сектором Газа и Израилем.

Современная наука ставит диагнозы, но лекарство может дать только соборное человеческое сердце. Образ соборного сердца – условность, но для групп творческого меньшинства, рассеянных по земле, – это реальность, и она не поддается вражде –

религиозной, национальной, социальной. Это сердца, открытые вечности, их не так уже мало, – и ничтожно мало для своей задачи, если считать, что все надо сделать своими руками; и напротив: творческое меньшинство достаточно велико, если соборное сознание сможет распространиться и захватить достаточное число сильных и гибких умов, способных к действию.

Соборное действие невозможно без соборного сознания. А соборное сознание сможет родиться только так, как был создан мир – из ничего, из озера внезапно раскрывшегося зеркалом истины в клубящемся вихре сил, и в этом зеркале явится целостный образ, к которому потянутся избранные, а потом многие. Ясный и бесспорный образ не может быть выдуман. Он сверкнет, подобно огню Паскаля, и сразу осветит и притянет к единому свету все великие традиции. Их открытый вечности диалог может стать

реальностью здесь и теперь. Это возможно. И вера в него может сотворить чудеса.

Сегодня эта вера создает стихи. И я присоединяю к эпиграфу еще три стихотворения из сборника Зинаиды Миркиной «Один на один», М., 2002.

Своим дыханьем глину тронь,  
Кинь искру в ночь, взметнись над нами!  
Ведь ты огонь! Огонь! Огонь,  
Который прожигает камень,  
Который входит внутрь сердец,  
Как в темень леса свет осенний...  
Я знаю, знаю, мой Творец  
Жар твоего прикосновенья!

.....

Почему удлиняется вечером свет,  
Чтоб до сердца достать моего,  
Чтоб оставить свой долгий сияющий след  
В непроглядных глубинах его.  
Чтоб потом ниоткуда, внезапно, сама,  
Как прозренье в нечаянном сне,  
Изнутри засветилась безмолвная тьма,

Сохранившая свет в глубине.  
Во глубине моей горит огонь.  
Всегда горит, без чада и без дыма.  
А вы кладете на глаза ладонь.  
А вам сияние невыносимо...

.....

Вы стороной обходите меня.  
Вы погасить хотите это пламя,  
Не зная, что без моего огня  
В глухую ночь провалитесь вы сами.

**Богословское приложение (митрополит Антоний  
Сурожский)**

«Действия Христовы рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина. Иначе это будет деятельность, основанная на принципах: нравственных, богословских или любых принципах; но сколько бы ни были они истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют божественной динамике, внезапной динамике

небывалого, непостижимого, в чем именно характерно действие Божье. Мы, христиане, призваны жить на большей глубине, жить глубокой внутренней жизнью – но не в смысле обращенности на самих себя. Мы призваны уйти глубже этой обращенности, и сама эта глубина позволит нам взглядеться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву жизни и благодаря такому созерцанию, глубокому вглядыванию различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни. И тут громадная разница между мудростью и человеческой опытностью. Опытность – результат прошлого, накопленный человеческий опыт; она обращена к пережитому, опыту более обширному, чем личный опыт, и делает выводы интеллектуально основательные, точные, глубокие. А мудрость поступает «безумно». Мудрость состоит в том, чтобы



погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божьим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог». (Из выступления в Париже в 1974 г. Русский перевод Е.Л.Майданович, «Континент», 1996, № 89).